



ОТКРЫТАЯ

встреча

КИФА

Приложение
к газете

5

ПОЧЕМУ В ЦЕРКВИ ЗАГЛОХЛА ТРАДИЦИЯ ДЬЯКОНИС?

Ответы на вопросы открытых встреч

Вопрос: Насколько нравственность можно приобрести добром или злом?

Свящ. Георгий Кочетков: Немного странный вопрос. Обычно такая проблема — «можно ли приобрести нравственность злом» — не встаёт. Правда, зло само по себе может поставить человека в экзистенциальную ситуацию, заставить его задуматься, остановиться — и это будет способствовать нравственному возрастанию человека. Я видел не однажды, как люди, считающие себя более или менее праведными, не совершающими особых грехов, при этом часто бывали нравственно нечестивыми, а иногда даже совсем бесчувственными в этой области. Много раз я видел и людей, которые проходили через разные искушения, иногда даже попадались в их силки, но это заставляло их действительно обострять свои нравственные чувства, обогащать свой нравственный опыт. И хотя было бы странно делать какой-то прямой вывод, скажем, «побольше грешите, тогда вы будете более нравственными» — это, конечно, была бы ерунда — но, тем не менее, человек, прошедший через разные искушения, «может искушаемому помочь», и не только тот, кто не поддался на эти искушения, но и тот, кто на них поддался. Эту проблематику много раз в течение веков затрагивали разные христианские мыслители. Об этом говорят святые отцы, напоминают русские писатели, например, Достоевский. Поэтому всегда остаётся один императив: «люби человека и в грехе его». И чтобы раскрыть эту любовь, нужно пройти через искушения, нужно пройти через трудности, нужно пройти через разные этапы своего нравственного созревания. Хорошо, если человек может это сделать, сам не запачкавшись никаким образом в грязи, но в жизни часто бывает иначе. Повторю, это не есть оправдание греха и зла, это наблюдение над реальностями нашей жизни.

В том, что добро может человека нравственным образом совершенствовать, конечно, нет сомнения. Но только это добро должно быть не механическим, не просто традиционным, не тем, что легко без особых усилий, даётся человеку, а тем, через что приходится прорываться, буквально окорябаясь до крови. Это связано с нашим духовным крестоношением, с несением того служения, которое дарует нам Господь. Однако опыт показывает, что многие христиане этого служения не знают, не чувствуют, и поэтому их добро имеет в себе не много добра, о чём и говорил Николай Васильевич Гоголь в известном месте своего дневника: «Грусть от того, что не видишь добра в добрё». Так что нравственность человека — вещь глубокая, экзистенциальная, духовная, связанная ещё и с чувством такта, с чувством вкуса духовного, с чувством меры, с тем опытом взаимоотношений с Богом и ближними, с друзьями и врагами, сотрудниками и теми, кто тебе противостоит в твоём служении, или во всяком случае, не помогает, кто равнодушен к тебе — это всё важные категории жизни человека и его нравственности.

Вопрос: Что такое совесть?

О. Георгий: Ну, что такое со-весть? Самым лучшим определением остаётся древнее: это голос Божий внутри человека, это голос сердца человека. Совесть — это то, что в человеке присутствует благодаря его духу, данному Богу, его схожности с Богоподобием. Это некое движущее начало, которое помогает человеку не заарпотоваться, не формализовать свои нравственные или канонические требования, или свою исполнительность по отношению к разным формам и формулам церковной жизни и веры или молитвы. Совесть — это то, что сознательно с Божьей Правдой и Истиной, то, что может подсказывать человеку путь тогда, когда он сам разобраться рационально или по своему отрефлектированному опыту не может. Совесть, действительно, живой голос Бога. Но поэтому она легко и подавляется, искажается, извращается, поэтому она легко ведёт человека уже не туда, куда надо. И если человек слишком доверяет своему внутреннему голосу, своим внутренним чувствам, он всегда попадается в ловушку, причём иногда очень серьёзную. А людей, доверяющих только себе, в наше время слишком много. Поэтому очень многие люди не могут вырваться из своих трудных духовных ситуаций, не могут обрести настоящий дискурсивный, глубокий и развивающийся, опыт, который бы, с одной стороны, очищал и углублял голос совести в человеке, а с другой — вёл человека вперёд.

Вопрос: Если мужчина больше воспринимает мир через разум, а женщина — через интуицию, значит ли это, что женщины более совестливы?



Джотто ди Бондоне. Noli Me tangere. 1320-е гг.

О. Георгий: Это обычное недоразумение. Да, мужчина больше апеллирует к разуму и даже не столько к нему, сколько к рациональному постижению мира, рациональному анализу, а женщина — не столько к интуиции, сколько к чувствам. И в том и в другом случае это не одно и то же. Действительно, женщина обычно очень чувствительна ко многим вещам, к которым нормальный мужчина совершенно глух. Но настоящая, глубокая интуиция как раз более свойственна мужчинам. (Поверхностная интуиция может быть свойственна и женщинам, это да, потому что она больше связана с чувствами). Я думаю, что настоящая интуиция, та интуиция, о которой говорил философский интуитивизм, говорит Анри Бергсон, это, конечно, в первую очередь мужское чувство. Мужчина значительно более интуитивно одарённый человек, но, к сожалению, менее чувствственный. То есть современные-то мужчины бывают очень чувственны, они иногда даже превосходят женщин в чувственности, но это уже другой вопрос, это специфика современного унисекса, этой новой субкультуры. Но в нормальном случае мужчина обладает и большим рацио, и большой интуицией. А это два начала, которые, к сожалению, часто попирались в практике христианской церковной жизни. Чувственность всегда поддерживалась, и поэтому женщины чувствуют себя в храмах обычно очень хорошо — слёзы текут рекой, человек погружается в путь даже непонятную, но очень глубокую по чувствам своим молитве, а вот мужчина понять ничего не может, не может удовлетворить ни свою рациональную жажду познания, ни интуитивную.

Чувствительно развитый человек не доверяет интуиции, как и рационально слишком развитый человек не доверяет интуиции, не доверяет тому непосредственному ведению совестью, когда человек ведётся совестью, когда он ведётся Духом Божиим, когда он способен на какие-то неординарные поступки, которые других могут шокировать, которых могут казаться нарушением общепринятых норм нравственности. А ведь если это было даже в Ветхом завете, что же говорить про Новый! Не случайно, допустим, подвиг юродства, т.е. снятие рационального и чувственного пласта ради интуитивного, ради безумства Христа ради, которое посещает иногда великие христианские души, этот подвиг в основном — мужской подвиг. Настоящий юродивый, как правило, мужчина. Скромное, небольшое юродство бывает свойственно и женщинам, но, к сожалению, к этому тоже часто примешивается чувственность, а то и всякие магические мотивы, как это было, например, с известной, теперь канонизированной, Матроной Московской.

Вопрос: Почему в православной церкви нет женских священников?

О. Георгий: Это очень интересный вопрос. Всё ведь зависит от того, что мы понимаем под священством. Христианство приобщает каждого верующего, и мужчину и женщину, к величайшим дарам Святого Духа и к священству Христа — уникальному, единственному священству. Ведь Господь наш единственным, уникальным образом отдал Себя в жертву, послужив «первовещанием будущих благ», как говорит апостол Павел. И поэтому каждый человек становится по вере во Христа священником и царём Бога Живого. В этом состоит так называемое учение о всеобщем священстве Народа Божьего. И в этом смысле каждая женщина вполне может приносить Богу бескровные жертвы, жертву хвалы и жертву благодарения, «возвещая совершенство Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой Свет», как сказано в Писании. Это надо тем более учитывать, поскольку апостол Павел очень серьёзно однажды ска-

зал, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Поэтому нужно лишь быть во Христе, и тогда для твоего священства нет преград, независимо от того, какого ты пола.

Но есть другая проблема — проблема возглавления евхаристического собрания Церкви. И здесь уже другие критерии принесения духовных жертв, например, той же жертвы хвалы и благодарения, евхаристической жертвы. Ясно, что из пастырских соображений для Церкви важнее такими представителями иметь братьев. Во всяком случае, в истории Церкви не наблюдалось представителей-женщин, кроме как в еретических сообществах. Даже тогда, когда были женщины-пророки, даже тогда, когда были женщины-катехизаторы, учителя, даже тогда ничего не известно о том, чтобы женщины возглавляли евхаристическое собрание. Это, действительно, имеет некоторые недостатки, уж не говоря про то, что Ветхий Завет говорит о всякого рода ритуальной нечистоте женщины в разные периоды её взрослой жизни. И хотя в Новом Завете уже можно было бы подвергнуть сомнению эти ветхозаветные представления, потому что ритуальная нечистота отходит на задний план для христианина, однако всё-таки женщина по природе своей больше связана с деторождением, с организацией и охраной очага, семьи, рождением детей, заботой о муже, заботой о том, кто является её главой. И апостол Павел не случайно говорит, что глава жены — муж, а глава мужа — Бог. Этого, мне кажется, имеет смысл не забывать и относиться к этому всерьёз, конечно, не абсолютизируя эти вещи. (Это не значит, что женщины закрыты личные отношения с Богом. Я думаю, что всем понятно, о чём идёт речь).

Таким образом, мы наследуем древнюю апостольскую практику, мы наследуем древний церковный опыт, говорящий о том, что возглавлять евхаристическое собрание должны братья, даже если женщина обладает лидерскими свойствами, хорошим острым умом, энергией, убедительным словом, знанием Писания, способностью научить новых членов Церкви и т.д., т.е. многим из того, что так необходимо любому представителю Церкви — многим, но не всем.

Вопрос: Почему в церкви заглохла традиция дьяконис?

О. Георгий: Надо сказать, что традиция дьяконис существовала удивительно долго, всё первое тысячелетие. Она «заглохла» только к началу второго тысячелетия, тогда, когда уже совсем заглох и катехуменат, да и вообще творческие начала в церкви, когда всё стало воспроизводить себя с неким немного механическим оттенком, когда всё было ритуализовано, и любые изменения происходили медленно и в незначительном объёме.

Вообще говоря, в середине XIX века институт дьяконис был восстановлен митрополитом Филаретом Московским, потом поддержан другим святым митрополитом, Нектарием Эгинским, в греческих церквях. Были возрождены чинопоследования рукоположения дьяконис. Всеправославное совещание на острове Родос по подготовке Святого Великого Всеправославного Собора, начавшееся в 60-х годах прошлого века, тоже рекомендовало восстанавливать этот институт. Но этому мешает историческая инерция, сложившаяся ныне порядок.

Никаких принципиальных препятствий для восстановления этого института нет. Многие женщины уже сейчас реально исполняют функции дьяконис, будучи катехизаторами, или помогая при крещении, или занимаясь каритативной деятельностью и т.д. Даже чтение Священного Писания, скажем, Апостола, пение в хоре — всё было с конца XIX века и в XX веке предоставлено и женщинам. Так что, в общем-то, непонятно — а чего не хватает сейчас реально служащим нерукоположенным дьяконисам, которых много? Если человек хочет служить Богу, он и без особого рукоположения получает необходимые благодатные дары. Я вспоминаю даже случаи причащения умирающих женщинами, духовными чадами праведников XX века. И это было возможно. Фактически это полностью покрывает собой поле служения древних дьяконис. Так что, может быть, надо пересматривать просто само представление об институциональных служениях. Может быть, просто церковь как-то находит другие способы проявления благодатных даров без отдельного рукоположения? Может быть, Господь ведёт Свою Церковь какими-то нам ещё не ведомыми путями к новому стилю организации церковной жизни? Мы этого не знаем, над этим надо думать, всё это надо проверять. Но я глубоко уверен, что те из женщин, кто хочет служить в качестве дьяконис, могут добиться этого и иметь соответствующий авторитет во всей нашей церкви.



2

МАЙ 2006

КИФА

ОТКРЫТАЯ встреча

Эти несколько слов – мое личное свидетельство, попытка описать подарок, полученный мной и претворяющий мою печаль об уходе Ахматовой в чувство светлой печали и благодарности.

Эти размышления касаются – конечно, очень схематически, очень отрывочно – трех тем ахматовской поэзии: любви, России и веры.

Быстрая и широкая популярность Ахматовой первоначально могла казаться несколько подозрительной. В мире, насыщенном сложной и высокой поэзией русского «серебряного века», вдруг прозвучало не только что-то очень простое, но в своей простоте как будто снижавшее высокий, почти мистический тон, усвоенный русской поэзией, начиная с Владимира Соловьева и пророческих «зорь» раннего символизма. Женская лирика о любви и влюбленности, об изменениях и верностях, о боли и радости, о встрече и разлуке. Таково вначале было отношение Гумилева к поэзии Ахматовой: «Вам нравится? – говорил он. – Очень рад. Моя жена и по канве отлично вышивается». Так казалось и многим другим. Но прав был, конечно, не Гумилев, а тайнозритель русской поэзии Вячеслав Иванов, когда, прослушав одно из первых – таких женских стихотворений, он сказал Ахматовой: «Поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение – событие в русской поэзии». Да, действительно, была простая земная любовь с ее радостями и горестями, с ее единенностью в себе, с ее, казалось бы, бесчувственностью к «проблемам» и «вопросам».

Да, действительно, это женская лирика. Но может быть, тогда не было так ясно, как стало ясно потом, что эта женская лирика о любви, и почти только о любви, совершила нечто наущенное в самой русской поэзии, очищая ее изнутри и указывая ей как раз тот путь, которого она всей своей мистической взволнованностью, всей своей болью искала.

Русский «серебряный век» незабываем и неповторим. Никогда – ни до, ни после – не было в России такой взволнованности сознания, такого напряжения исканий и чаяний, как тогда, когда, по свидетельству очевидца, одна строка Блока знала больше, была наущенее, чем все содержание «голстых журналов». Свет этих незабываемых зорь навсегда останется в истории России. Но теперь, спустя столько лет, – и каких лет! – мы не только можем, мы должны сказать, что была в этом серебряном веке и своя отрава, тот «тайный яд», о котором говорил Блок. Была великая правда вопрошаний и исканий и какая-то роковая двусмысленность в ответах и утверждениях. И ни в чем, быть может, двусмысленность эта не проявилась столь явственно, как именно в главной теме всякой поэзии: в теме любви. С «Трех разговоров» Владимира Соловьева вошло в русскую поэзию, в самую ткань поэтического опыта и творчества, странное и, надо прямо сказать, соблазнительное смешение мистики и эротизма. Не одухотворение любви верою и не воплощение веры в любви, а именно смешение «планов», в котором не одухотворялась плоть, но и не воплощался дух. Мы знаем, какой личной трагедии обернулось это смешение в жизни Блока, как «Стихи о Прекрасной Даме» обернулись надрывом «Балаганчика» и каким-то каменным отчаянием «Страшного мира» с его ледяными метелями. И вот простые женские, любовные стихи Ахматовой, такие, казалось бы «незначительные» на фоне всех этих взлетов и крушений, в атмосфере этого мистического головокружения, на деле были возвратом к правде – той простой человеческой правде о грехе и раскаянии, о боли и радости, чистоте и падении, которая одна – потому что она правда – имеет в себе силу нравственного возрождения. Сама того не зная и не сознавая, пишет стихи о простой и земной любви, Ахматова делала «добре дело» – очищала и просвещала – и делала это действительно по-женски, просто и без самооглядки, без манифестов и теоретических обоснований, правдой всей своей души и совести. И потому, в конечном итоге, она имела право сказать, что творчество ее

Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

В Ахматовой «серебряный век» нашел свою последнюю правду: правду совести. И не случайно, конечно, совесть является единственным настоящим героем ее поздней и замечательной «Поэмы без героя»:

АННА АХМАТОВА

Из слова протопресвитера Александра Шмемана

*Это я – твоя старая совесть –
Разыскала сожженную повесть.*

Это совесть приходит к ней в новогодний вечер и освещает правдой смутную и двусмысленную, как маскарад, давнико петербургскую повесть всех этих запутанных и трагических жизней, всей этой эпохи, это совесть дает ей силу, с одной стороны, испугаться,

*Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех,*

а, с другой стороны, все, включая и самого грех, побеждает жалостью и верностью, небесной правдой великой земной любви. И потому от любви ее ранних стихов, той любви, из-за которой она «на правую руку надела перчатку с левой руки», – прямой путь к голой, страшной, как распятое тело, но уже действительно ничем не победимой любви «Реквиема».

Ахматова и Россия. Каждый русский поэт имеет свой образ России, каждый на своем творческом пути так или иначе, раньше или позже, но говорит о России, включает ее в свою поэзию. Пушкин был певцом «империи и свободы»; для Блока Россия стала последним воплощением Прекрасной Дамы, обещанием, судьбой, надеждой, что не сбылись в его жизни, Мессией грядущего просветленного мира. Ничего этого нет в поэзии Ахматовой, обращенной к России. Или, вернее сказать, поэзия ее как раз и не обращена к России как к «объекту» любви или носителю какой-то особой судьбы. Тут тоже можно говорить о женском отношении Ахматовой к России, которое воплощается в чувстве какой-то почти утробной от нее неотделимости. Ахматова несколько раз говорит о своем сознательном отказе от эмиграции, от ухода с родины. В первый год революции на голос, призывающий ее к такому уходу, она отвечает:

*Но равнодуши и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.*

И сорок лет спустя, в предисловии к «Реквиему», – совершенно так же:

*Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыльев,
Я тогда была с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

Но – и в этом мне кажется вся суть ахматовского отношения к России – стихи эти совершенно свободны от какой бы то ни было «идеологии». Идеологический подход к родине – это подход мужской, и таков был, по существу, всегда подход к ней в русской поэзии, причем под идеологией я разумею совсем не обязательную политическую идеологию, ибо возможна и оправдана идеология и художественная. И такой идеологический подход может не только оправдать, но и сделать нравственно неизбежным и необходимым уход, ибо уход этот – ради родины, во имя ее – есть проявление верности ей.

Но в том-то и все дело, что для Ахматовой такого выбора не было, ибо она не «относится» к России, а есть как бы сама Россия, как мать не «относится» к семье, а есть сама семья. Отец и муж могут уйти из дома на время, ради семьи, чтобы издалека помочь ей. Но мать не может уйти, потому что без нее нет семьи и нечему помогать. Вот такой матерью и женой, одной из миллионов таких матерей, которым нельзя уйти, и была Ахматова. И тут – проявление все той же ее женственности, женской любви, которая в каком-то смысле до конца пассивна, есть всецело самоотдача, но которая, вместе с тем, и есть сама сила, сама последняя суть и красота жизни, так что ради нее, по отношению к ней, для ее защиты и для служения ей и существуют все «идеологии».

У Ахматовой совсем нет стихотворений «патриотических». Даже в страшные годы войны, осады Ленинграда родина является ей всегда в образе матери, и примитивно всегда страдающей, – так сказать, «реальной» матери, матери «реальных» детей. Что такое победа, что ей сказать?

*Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей –
Так мы долгожданной ответим.*



Родина, Россия – это реальные люди, и реально в них прежде всего их страдание. И родина – это тоже живой, свой город, о котором столько писала, который так любила Ахматова, про который в разлуке писала:

*Разлучение наше мимо –
Я с тобою неразлучима.*

И когда этот город страдает, про него можно сказать:

*Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит.*

Родина – это «пречистое тело земли»; родина – это родной язык, в котором бьется его жизнь. И потому, повторяю, связь Ахматовой с Россией не «идеологическая», это не вера в ее миссию, не вдохновление ее славой, это всегда – простое биение сердца, жизнь вместе, самоочевидность нерасторжимого единства. И в этом единстве, в этом полном слияния светит свет.

Все расхищено, предано, продано.

*Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано, –*

Отчего же нам стало светло?

Днем дыханья веет вишневыми

Небывалый под городом лес.

Ночью блещет созвездьями новыми

Глуби прозрачных шольских небес.

И так близко подходит чудесное

К развалившимся грязным домам,

Никому, никому не известное,

Но от века желанное нам.

И потому поэзия Ахматовой, да и сама Ахматова, в эти годы, когда так страшно было искалечен лик родины, когда для одних она была вся страх, вся страданье, а для других – боль разлуки, – все больше и больше становилась именно самим образом настоящей России, той, которая соединяет, которая живет под страхом и сияет из дали разлуки, которая сама собой свидетельствует о своей неистребимости. Голос не о России, а голос самой России, ее воздух, ее правда, ее свет.

Вера Ахматовой. И тут опять не обойтись без сравнения. Уже столько было сказано о религиозном вдохновении, о «романе с Богом» русской литературы. Действительно, вся она, на глубине своей, была всегда отнесена к последним вопросам бытия, так или иначе решала для себя вопрос о Боге. Но и тут Ахматова стоит особняком. Как и любовь, как и Россия, вера для нее – не «тема» и не «проблема», не что-то внешнее, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это снова что-то очень простое, ее почти «бабья вера», которая всегда живет, всегда существует, но никогда не «отчуждается» в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных словословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри и изнутри не столько указывает, сколько погружает все в какой-то таинственный смысл. Так, никто, кроме Ахматовой не «заметил», что Блока хоронили в день Смоленской иконы Божьей Матери. И Ахматова не объяснила нам, почему это важно. Но в этом удивительном стихотворении о похоронении Блока словно любящая, прохладная материнская рука коснулась страдающего в отчаянии и страданий поэта. И, ничего не объясняя и не разъясняя в его страшной судьбе, утешила, примирила, умиротворила и все поставила на место, все приняла и все простила:

*А если когда-нибудь в этой стране
Воздвинуть задумают памятник мне,
Согласие на это даю торжество.*

Через все наше лихолетье она пронесла, ни разу не изменив, правду и совесть, то есть то, чем всегда светила нам подлинная русская литература. И потому, думается, не случайно одно из своих немногих чисто религиозных стихотворений она посвятила не только Матери, стоящей у креста, но и словам, услышанным Матерью:

Хор ангелов великий час восславил,

И небеса распалились в огне.

Отиц сказал: «Почто Меня оставил?»

А Матери: «О, не рыйдай Мене!»

По православному учению пасхальная победа начинается на самой глубине, в последней темноте Великой пятницы. Поэзия Ахматовой – это свет, светящий во тьме, и которого тьме не объять.

Слово было произнесено на собрании памяти Анны Ахматовой в св. Серафимовском фонде в Нью-Йорке 13 марта 1966 г. Опубликовано в «Новом Журнале», Нью-Йорк, 1966, № 83, с. 84–92).